



ЗАПАСНЫЕ ОРГАНЫ

Борис Грань

Сергей Шаповалов

Запасные органы

«Автор»

2026

Шаповалов С.

Запасные органы / С. Шаповалов — «Автор», 2026

В клинике «Гигея», которой юридически не существует, богачам продают не просто органы — право жить до ста пятидесяти лет. Доноры при этом не умирают на операционном столе. Они в сознании. Они плачут, когда у них вырезают почку. А потом Лика находит список. На очередную «нулевую операцию» назначен её девятнадцатилетний брат Марк. Теперь у неё 72 часа, рана в плече и ни одного союзника, кроме напарника, который, возможно, всё это время сдавал её врагу. А в городе уже собирают взрывчатку те, кто потерял в «Гигее» не просто орган — всё. Остаётся один вопрос: успеет ли сама Лика не стать последним, кто сохранил ещё хоть что-то человеческое. Тёмный биотехнологический нуар о цене бессмертия, которая всегда измеряется чужой жизнью.

© Шаповалов С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	6
Часть первая. Труп в чистой зоне	9
Глава 1. Тело без селезёнки	9
Список 3. Список	16
Глава 4. Клиника, которой нет	21
Глава 5. Метка крови	25
Глава 6. Идеология ресурса	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Сергей Шаповалов

Запасные органы

Пролог

Протокол забора № 4471. 2047 год.

Бывают комнаты, в которые не проникает смерть — потому что она в них уже дома.

Здесь не было окон. Ни единого прямоугольника света, ни намёка на то, что за стенами ещё остался мир, способный дышать, смеяться, просыпаться по утрам. Ничто сюда не входило и ничто отсюда не выходило — кроме того, что уносили в герметичных ящиках, в ледяной тишине, навстречу рассвету, о котором обитатели этой комнаты давно забыли. Воздух был холодным, искусственным, пропитанным озоном и ещё чем-то тонким, сладковато-приторным, от чего хотелось дышать через рот и, по возможности, не думать.

Свет. Не тот, что рождается в небе, — а мёртвый, без тени, стекающий с потолка равнодушной белизной. Он не согревал. Он только вычерчивал всё, что здесь находилось, с бесстрастной точностью, на которую способны лишь вещи и бездушные механизмы.

Посреди всего этого был стол. Хирургический, из нержавеющей стали, скользко блестящий, будто только что облизанный чем-то живым. И на нём — тело.

Нет, не так. Слово «тело» — честное, завершённое слово. Оно означает неподвижность, покой, конец. А то, что лежало на стали, ещё не успело сделаться телом. Оно дышало. Грудь поднималась и опускалась с той осторожной, жалкой равномерностью, какой дышит существо, не смеющее попросить о большем. Пальцы — по одному, как бы тайком — сжимались в кулак и снова разжимались. Иногда вздрагивала щека. Иногда, совсем едва, приоткрывались веки, и под ними блестело что-то мокрое, живое, безнадёжное.

Веко дёрнулось. Ресницы слиплись от слёз.

Над столом, на высоте человеческого равнодушия, горела лампа. И было в её свете что-то до тошноты честное: он показывал всё, но не видел ничего.

Где-то рядом — мерное, ровное, как метроном самой смерти — звучал голос. Он не принадлежал крику, не принадлежал шёпоту. Он принадлежал диктовке. Голос человека, для которого слова «сердце», «лёгкое», «селезёнка» были тем же, чем для счетовода — графы в ведомости.

— ...протокол забора номер четыре тысячи четыреста семьдесят один, — произнёс голос, и тон его был спокоен так, как бывает спокоен только тот, кто уже очень давно не задаёт себе одного-единственного вопроса. — Объект: донор категории «Эн». Пол: мужской. Возраст: приблизительно двадцать четыре. Состояние при поступлении: удовлетворительное. Показатели — в пределах условной нормы. Жалоб не предъявляет...

Здесь голос прервался. Не от сомнения — сомнение не умеет говорить таким тоном. Просто пауза, как между абзацами в приказе.

— Коррекция. Жалоб не предъявляет вследствие отсутствия возможности предъявлять их. Мышечный блок введён. Сознание сохранено.

Сознание сохранено.

Эти два слова повисли в стерильном воздухе и, прежде чем раствориться, успели сделаться чудовищными. Сознание сохранено. Тело, которое больше не принадлежит себе, — но внутри него, как пойманная в стеклянный шар оса, ещё бьётся, ещё всё помнит, всё чувствует и всё понимает то самое нечто, которое принято называть «я». Оно лежит на холодной стали, оно слышит каждый слог собственного приговора, оно чувствует, как по коже скользят перчатки, как прикасается к нему металл, ещё тёплый от стерилизатора, — и не может сделать ровно ничего.

Ничего.

Крик застрял где-то в гортани, заledenел на полпути, превратился в тонкий, едва различимый хрип, который некому было услышать, да и некому было бы отозваться, услышь его хоть сама смерть.

Пальцы сжались снова. Сильнее. Судорожно. Так, будто в этом последнем, отчаянном усилии можно было удержать то, что уже утекало сквозь них, — жизнь, имя, рассвет за окном, чьё-то лицо, чьё-то имя, чью-то руку, которую больше никогда...

— Подготовка завершена, — спокойно сказал голос. — Приступаем.

И вот тогда — металл.

Не хочу описывать его холод. Холод здесь был не температурой, а самой сутью вещей: холод, из которого состояли эти руки, эти инструменты, этот воздух, эта ночь, вся эта комната без окон, весь этот мир, научившийся так спокойно и так деловито разделявать себе подобных. Холод, в котором не было злобы. В злобе, по крайней мере, есть хоть искра тепла — пусть кривого, пусть безумного. А здесь не было и этого.

Была только последовательность. Раз. Два. Три. Четыре.

Мерный отсчёт чужих дыханий, в котором сбивалось, задыхаясь, одно-единственное, — то, что на столе.

И снова голос, всё так же ровен, всё так же деловит, продиктовал в микрофон, закреплённый у самого горла, неразличимо для вечности:

— Забор материала произведён штатно. Объект проявил... реакцию. Слёзные железы активны. — Пауза. Сухая, как ломающаяся спичка. — Материал плакал. Расход — штатный.

Потом — тишина. Та самая, из которой сделана комната без окон.

И только в углу, где лампа не доставала, где тьма лежала плотно, как сгустившаяся кровь, что-то едва заметно блеснуло. Это была слеза. Простая человеческая слеза, которая скатилась по щеке того, кто уже почти сделался «материалом», — но ещё не успел им стать до конца.

Она упала на нержавеющую сталь.

И горячей точечкой растеклась в холод, из которого состояло всё остальное.

Там, наверху, где всё ещё был мир, — вставало солнце. Где-то просыпались люди. Где-то варили кофе, целовали детей, смотрели в небо и говорили, что жизнь прекрасна.

Они не знали.

А те, кто знал, — уже записали человека в графу «Расход» и поставили подпись.

Штатно.

Часть первая. Труп в чистой зоне

Глава1. Тело без селезёнки

Город просыпался как-то неохотно. Не от солнца — солнца здесь давно никто не видал, оно пряталось за высокими домами, как совестливый человек прячется за спинами других, — а от собственной возни, от трамвайного звона, от кашля, который слышится по утрам из всех окон. Над крышами висел туман, сырой и серый, и в нём плавали, как золотые рыбы в мутном аквариуме, огни вывесок.

Дождь не шёл, а как-то так, понемножку сочился: не приставая к человеку, а лишь напоминая о себе, будто мелкий клерк, который боится помешать, а всё-таки мешает.

А над всем городом, куда ни глянь, светилась надпись. Её знали все, как знают цену на хлеб или фамилию мэра:

«Фонд долголетия. Живи. Долше. Всё это — только для лучших».

Написано было красиво, с улыбкой на лице человека, у которого, как у всех из этой рекламы, не было ни одной морщины. И было в этой надписи что-то такое, от чего становилось не то чтобы грустно, а как-то не по себе, как бывает, когда вас слишком вежливо обманывают, а вы делаете вид, что не замечаете.

Лица Орлова шла по улице и не смотрела на вывеску. Она вообще мало на что смотрела. Плащ на ней был мокрый, а сигарета давно погасла, но Лица этого не замечала — она была занята мыслями, которые, по правде сказать, и мыслями-то назвать было неловко, а так, одной скукой, разлитой по всему существу.

Вызвали её рано, перед самым рассветом. Дежурный говорил скучно и как-то виновато, точно заранее просил прощения за то, что сейчас скажет.

— Пентхаус. «Башни Авроры». Мужчина. Сердечный, говорят. Но вы бы взглянули сами, Лица Владимировна.

— А почему я? — спросила Лица, и вышло у неё не то чтобы сердито, а как-то устало.

Дежурный помолчал.

— Да так, — сказал он. — Больше никто не хочет.

Лица вздохнула, вынула изо рта погасшую папиросу, повертела её в пальцах и пошла к

В пентхаусе было чисто и очень дорого. Так чисто и так дорого, что хотелось говорить шёпотом и не дышать. Вещи стояли по местам, ковры не были примяты, на стенах висели картины, которых Лица не понимала, но про которые догадывалась, что они ужасно дороги. Всё здесь было устроено так, будто человек не жил, а лишь показывал кому-то, что умеет жить.

А посреди комнаты лежал сам человек.

Мужчина, всем известный. Из тех, чьё имя в газетах печатают крупнее, чем сообщения о войнах. Он лежал на спине, на ковре, и лицо у него было не испуганное и не страдальческое, а какое-то недоумевающее, будто он и умирая не мог надивиться, что с ним это случилось именно так и что никто ему об этом заблаговременно не доложил.

«Сердечный приступ», — было написано в рапорте.

Лика присела на корточки. Как все, кто много видел мёртвых, она уже не испытывала ни страха, ни особого любопытства, а только привычную скуку, от которой слегка сводило скулы. Она натянула перчатки — одна щёлкнула по запястью, и звук этот вышел такой громкий и неуместный, что Лика поморщилась.

Она долго смотрела на лицо. Потом перевела взгляд на грудь. Ей показалось — или нет? — что под рубашкой что-то не так.

Она расстегнула пуговицы, одну за другой. Кожа была холодная, но ещё хранила тонкий запах хороших духов.

И увидела шов.

Аккуратный, ровный, затянувшийся уже, присыпанный чем-то белым. Так зашивают не наспех, не в драке, не в тёмном переулке. Так зашивают в больнице, и в больнице очень хорошей, где руки у людей спокойные и привычные.

Лика поднялась.

— Вскрытие, сказала она. Сейчас же.

Патологоанатом был человек старый, с лицом скучающим, как у всех, кто видел смерть чаще, чем сны. Но когда скальпель пошёл вниз, Лика заметила, что у него дрогнуло веко. Только веко.

Внутри всё было не так, как обещано в рапорте.

Сердце — здоровое. Сосуды — чистые. Лёгкие — розовые, свежие, будто человек этот всю жизнь дышал не туманом, а горным воздухом.

А селезёнки не было.

Совсем. На её месте — пустота, аккуратная, вычищенная, обработанная. Всё перевязано так чисто, как не перевязывает самый лучший хирург на скорую руку. Ни разрыва, ни болезни, ни следа.

Просто — нет органа.

И смерть, которую называли сердечным приступом, была на самом деле смертью совсем другой, торопливой и чужой, умело спрятанной под благообразную причину.

Ли́ка вышла на улицу и остановилась. Дождь всё сочился. Вывеска «Фонда долголетия» всё так же улыбалась с противоположного дома.

«Живи. Дольше. Всё это — только для лучших.»

Она закурила, на этот раз по-настоящему, и долго смотрела на эту надпись, как смотрят на человека, который солгал и даже не покраснел.

Ей стало холодно.

Не от дождя.

А от той мысли, что такую чистую, такую спокойную, такую хорошо устроенную смерть нельзя сделать одному и случайно. Что за ней что-то стоит — большое, покойное, уверенное в себе, как этот самый «Фонд», который не просит, не грозит, а только обещает, и улыбается.

Она взялась за дело.

Не из усердия. Не из любви к правде.

А просто потому, что больше никто не хотел.

Как, впрочем, и всегда.

Глава 2. Мусорная медицина

Есть в каждом городе место, куда не ходят, а попадают. Оно не отмечено ни на одной карте, не светится в навигаторах, не имеет вывески, которую замечал бы благополучный глаз. Между тем оно существует — так же несомненно, как существует обратная сторона всякой вещи, всякой медали, всякого процветающего лица. Имя ему здесь давали разное, но одно прилипло прочнее прочих, потому что точнее всего:

Мусорная медицина.

Так называли районную больницу номер одиннадцать. И надо было быть честным до конца: называли её так не с жестокостью, а с той безнадёжной, почти нежной точностью, с какой мать зовёт своё больное дитя «горемычным». Ибо здесь умирали и лечились те, кого сам город давно списал в расход. Те, у кого не было ни страховки высшего сорта, ни связей, ни денег, ни — и это, пожалуй, было самым тяжким — имени, достойного упоминания в чьём-либо рапорте.

Ли́ка пришла сюда утром, но утро здесь мало чем отличалось от ночи, а ночь — от самой смерти.

Очередь начиналась не от дверей, а от самых врат, теряясь где-то за поворотом, растворяясь в сыром, безнадёжном сумраке, какой бывает только в коридорах, где давно перегорела половина ламп. Люди сидели, стояли, лежали — на стульях, на полу, на собственных скрученных пальто, — и все они были одного цвета. Не цвета кожи, нет. Цвета отсутствия. Того серо-бежевого, выпцветшего оттенка, что стирает с человека всё отличительное и оставляет лишь общую печать нужды.

Кашель. Плач ребёнка. Шарканье. Чей-то монотонный, никому не адресованный шёпот. Капающая с потолка вода, отсчитывающая чьё-то промедление, будто дурное предзнаменование.

И над всем этим — стойки, стойки, стойки.

Платное — всё. Приём. Анализы. Обезболивающее. Очередь. Сам воздух. Вывески над кассами, с цифрами, от которых у этих людей, не имевших ничего, холодело в груди ещё до того, как их касалась болезнь. Ибо циферблат нужды безжалостнее всякого скальпеля: он режет не тело, а надежду.

В углу, над койками, висел старый телевизор, подвешенный под потолком, как недремлющее око чужого благополучия. Экран его рябил, но звук — звук был чист и ровен, и он, как нож, срезал с этого места последние остатки человеческого.

Дикторша, с лицом, отшлифованным до блеска, сообщала о чуде.

— ...и сегодня пресс-служба «Фонда долголетия» подтвердила: состояние господина Вельяминова стабилизировалось. То, что ещё неделю назад казалось приговором, теперь — лишь строчка в истории болезни. Врачи центра возвращают пациента к полноценной жизни. Источник чудодейственного лечения, по традиции, не раскрывается...

Лица подняла глаза от пола.

На экране — олигарх. Тот же, что неделю назад, судя по слухам, умирал от отказа печени. А теперь — румяный, улыбающийся, помолодевший лет на десять, машет рукой из окна дорогой палаты, где белое на белом, и где не бывает ни очередей, ни кашля, ни шёпота, ни капающей воды.

Чудо.

А внизу, под этим экраном, на замызганной клеёнке, женщина с лицом цвета мела прижимала к груди квитанцию, на которую не было денег, и раскачивалась из стороны в сторону, беззвучно, как в молитве, — чтобы только не упасть, не закричать, не разбудить то, что спало в ней под сердцем.

Вот и всё социальное расслоение этого города, подумала Лица. Одно и то же. Два экрана. Две правды.

И между ними — пропасть, через которую не перекинуть взгляда.

Она пришла сюда не лечиться.

Она пришла считать.

Странное занятие для следователя убойного отдела, скажете вы. И будете правы. Но именно этим, вычислением, стиранием границы между случайностью и закономерностью, и отличается живой охотник от того, кто просто носит значок.

Дело о теле без селезёнки не давало ей покоя. Не потому, что было загадочным — она видела загадки и пострашнее. А потому, что было бесшумным. Слишком чистое убийство, сработанное руками, которых не видно, в тени, где не осталось ни одного свидетеля, — такое не бывает единичным. Такое, будто грибница, разрастается под землёй, в темноте, и лишь изредка выталкивает на поверхность одиночный, ничем не примечательный плод. Труп в пентхаусе. Ровный шов на груди.

Исчезнувшая селезёнка.

Она стала поднимать архивы.

И тут — впервые за всё её циничное существование — что-то в глубине её ума стало складываться в картину, от которой холодело под ложечкой, как холодеет, когдаходишь в незнакомый дом и слышишь, что где-то в дальней комнате тикают часы.

В месяц. В её районе. Пропадали без вести.

Не по одному. Не раз в год. А — ровно, будто по невидимому расписанию, — несколько человек. Мужчины. Женщины. Иногда совсем молодые.

И все они были из тех, чью пропажу замечают не сразу. А чаще — не замечают вовсе.

Бомжи. Бездомные. Бывшие детдомовцы, которым по достижении восемнадцати лет город услужливо захлопнул дверь и сказал: дальше — сам. Люди, у которых не было ни семьи, чтобы поднять крик, ни адреса, чтобы туда пришёл следователь, ни лица, засветившегося в чьей-то памяти.

Они уходили в темноту — и темнота не отдавала их.

Никто их не искал.

Вот что было страшнее всего. Не исчезновение. Не смерть. А вот это всеобщее, спокойное, почти комфортное молчание, которым город отвечал на их отсутствие. Будто их и не было. Будто на их месте всегда стояла пустота, и лишь теперь она, наконец, стала видимой.

Лица перелистывала страницы. Строчки. Даты. Имена, среди которых спотыкался глаз, потому что имена эти ничего не значили, ничему не соответствовали, ни за что не цеплялись.

Их никто не искал.

Их некому было искать.

Так она наткнулась на неё.

На женщину, которая — единственная из всех — не исчезла.

Имя её ничего не говорило. Должность — бывшая санитарка отделения. А вот место прошлой работы ударило по глазам так, что Лика на мгновение перестала дышать.

Клиника «Гигея».

Та самая. О которой в рапортах не писали, но о которой шептали. Закрытая, дорогая, идеально отлаженная машина, через которую, по слухам, проходили те самые «лучшие», смотревшие с рекламы своими бессмертными, нестареющими лицами. Клиника, где делали «чудеса». Клиника, где исчезали диагнозы. Клиника, в двери которой входили умирающие — а выходили помолодевшие, полные сил, будто им кто-то щедрой рукой отсыпал ещё десяток лет.

«Гигея».

Лика записала адрес санитарки. Закрыла архив. Подняла глаза.

Телевизор всё ещё вещал. Олигарх Вельяминов всё ещё улыбался. Дождь всё так же стекал по мутному стеклу, размывая это улыбающееся лицо в бесформенное пятно, похожее на рану.

И сквозь дождь, сквозь чужую улыбку, сквозь кашель и шёпот и капающую воду — до Лики дошло то, что она давно уже знала, но боялась назвать:

существует место, где из живых делают ресурс.

А она, следовательно, слишком долго смотрела в другую сторону, потому что смотреть в эту — было противно.

Вот только теперь — страшнее стало не смотреть вовсе.

Потому что мусорная медицина, как выяснилось, имела и второе, потаённое, куда более точное имя.

И имя это она пока не осмеливалась произнести даже шёпотом.

Она вышла на улицу под дождь и долго стояла, подняв воротник, глядя, как растворяются в тумане огни.

Где-то в городе, в одном из бесчисленных сырых дворов, жила бывшая санитарка, которая знала слишком много и потому боялась сказать хоть слово.

Лика поняла: если она не найдёт её первой — не найдёт уже никто.

Потому что в этом городе те, кто слишком много знает, исчезают так же тихо, как исчезали бездомные.

Без крика. Без имени. Без следа.

Как будто их и не было вовсе.

Список 3. Список

Есть вещи, которые приходят к нам не через дверь, а сквозь стены. Они не звонят, не стучат, не предупреждают. Они просто оказываются рядом — тихо, как оказывается рядом тень на исходе дня, когда ты вдруг понимаешь, что солнце уже давно за спиной, а впереди только серость, и в этой серости кто-то уже ждал тебя всё это время.

Именно так в жизни Лики Орловой появился список.

Но прежде, чем я расскажу о списке, я должен рассказать о том, чего не случилось. Ибо в делах подобного рода, в делах, где тьма стучится так плотно, что сам воздух начинает давить на грудь, самыми красноречивыми становятся не события, а их отсутствия. Пустоты. Провалы. Те немые дыры в ткани бытия, куда проваливалось всё живое, чтобы никогда больше не вернуться.

Санитарка из клиники «Гигея» должна была говорить в девять.

Лица знала этот голос ещё до того, как услышала его. По телефону женщина не произнесла почти ничего — лишь несколько обрывочных, задышающихся слогов, сцепленных между собой так судорожно, будто само их произнесение причиняло боль. Но в этих слогах, в этой паузе между вдохом и выдохом, было всё: и страх, и надежда, и то особое, почти животное отчаяние человека, который слишком долго носил в себе правду и, наконец, решился выпустить её на волю, понимая, что вместе с ней, возможно, выпустит и собственную жизнь.

— Я была там, — прошептала она. — Я видела... вы не... вы ведь придёте?

— Приду, — сказала Лица.

И назвала время.

Девять вечера.

Она пришла в восемь сорок пять.

Так делают следователи — раньше условленного, чтобы видеть не саму встречу, а то, как к ней подходят. Чтобы поймать не слова, а тень, что скользит по стене прежде слов. Она выбрала место: старый, облезлый дворик, зажатый между двумя пятиэтажками, где фонарь горел через один, а через один — мигал, отбрасывая на мокрый асфальт рваные, дёргающиеся пятна, похожие на чьи-то беспокойные души.

Дождь не шёл. Дождь и не переставал. Он висел, цепляясь за карнизы, за провода, за сухие ветки, будто весь город закутался в мокрую марлю, сквозь которую едва пробивался свет чужих окон.

Лица ждала.

Часовая стрелка поползла до девяти, дрогнула, поползла дальше.

Девять ноль пять. Девять десять.

Девять двадцать.

Страх — странная вещь. Он не приходит сразу. Сначала приходит лишь холодное, почти деловое беспокойство, с которым следователь привык сверяться, как сверяются с барометром. *Опаздывает*, думала Лика. *Перепугалась. Передумала. Сидит сейчас у себя, запершись на три замка, и молится, чтобы телефон больше никогда не зазвонил.*

А потом, в какой-то неуловимый, ничем не отмеченный миг, беспокойство незаметно перетекло в нечто иное. Тугое. Липкое. Сжимающее диафрагму так, что стало трудно дышать ровно.

Лика знала это чувство. Оно приходило к ней не раз, в самых разных, но неизменно худших обстоятельствах. Оно означало одно: время вышло. Сделано нечто непоправимое. И теперь она не следователь, а просто поздний свидетель чужого конца.

Она побежала.

Впервые за последние годы — побежала, не оглядываясь, не прикрываясь, не выбирая пути, а просто бросившись вперёд, сквозь серый двор, в подъезд, вверх по лестнице, перепрыгивая через ступени, не слыша собственного дыхания, не чувствуя, как ломит грудь.

Квартира санитарки.

Дверь — открыта.

Не взломана. Не выбита. Просто приоткрыта. Этакая вежливая щёлочка, приглашающе темнеющая. И в этой вежливости было больше ужаса, чем в самом зверском разгроме.

Лика вошла.

В квартире стояла тишина — та самая, особая, звонкая тишина, какая бывает только там, где только что перестало биться сердце, и воздух ещё не успел об этом забыть. Всё было на своих местах. Чашка на столе, недопитый чай, остывший. Тапочки у кровати. На подоконнике — герань, аккуратно политая, с влажной, ещё тёмной землёй.

Словно человек просто вышел на минуту.

Словно человек жил здесь, любил этот дом, поливал этот цветок — и в один ничем не примечательный вечер исчез, не оставив после себя ничего, кроме этого тихого, непоправимого порядка.

Лика медленно обошла комнаты.

Ни крови. Ни следов борьбы. Ничего.

Просто — пустота. Та самая, знакомая ей по архивам, по спискам без вести пропавших. И от осознания этого — что вот сейчас, на её глазах, произошло то самое, о чём она читала в сухих строчках рапортов, — у неё похолодело не в груди даже, а где-то глубже, в самом основании позвоночника, там, где живёт древний, звериный, самый честный страх.

Они пришли раньше.

Они всегда приходят раньше.

Её нашли не в квартире.

Сумочка санитарки — простенькая, клеёноччатая, выдавшая виды — лежала в подъезде, двумя этажами ниже, на холодном бетоне лестничной клетки. Застёжка щёлкнула слишком громко. Внутри — бумажник, немного денег, которые никто не тронул (и это тоже было страшнее всего), таблетки, ключи.

И — сложенный вчетверо листок.

Лица вынула его, расправила. Бумага была мятая, надорванная с краю, словно её торопливо вырывали откуда-то, — но на ней ещё можно было разобрать написанное мелким, торопливым, но удивительно ровным почерком. Почерком человека, который всю жизнь вёл журналы, графики и температурные листы. Почерком санитарки.

Это был список. Неполный. Обрывок. Но даже в обрывке — достаточно, чтобы кровь на мгновение остановилась.

Названия. Адреса. Коды. Столбцы цифр, ничего не говорившие постороннему глазу и говорившие всё — глазу осведомлённому. Сверху, крупнее прочих, — одно слово, подчёркнутое дважды, с такой силой, что ручка продавила бумагу:

«ГИГЕЯ».

А сбоку, сбоку от чёрточки, приткнулось слово, от которого у Лики пересохло во рту.

«Донор-носитель».

Она перечитала его несколько раз. Донор-носитель. Донор-носитель. Звуки складывались в нечто вроде медицинского термина, но за гладкой латынью притаилось иное, потаённое значение, которое Лица ещё не могла схватить, но уже чувствовала, как чувствуют приближение грозы — по глухому, давящему гулу в ушах.

Она сунула листок в карман и не заметила, что у самой воротника, на улице, снова собрался дождь.

Позже, уже в участке, когда за окнами совсем стемнело и город превратился в сплошное неоновое пятно, Лика снова достала список.

И остановилась.

Потому что теперь, в спокойном свете лампы, она увидела то, чего не заметила впопыхах, в полутьме подъезда.

На обороте листка, в самом низу, дрожащей, срывающейся, уже почти неразборчивой рукой было приписано. Не теми чернилами. Позже. Может быть — в последнюю минуту, когда за дверью уже слышались чужие шаги.

Всего несколько слов.

«Они берут не у мёртвых. Они берут у живых. И не спрашивают.»

Лика сидела неподвижно, глядя на эти строки, и впервые за долгие годы не потянулась за сигаретой.

Потому что поняла: теперь уже и она знает слишком много.

А в этом городе те, кто слишком много знает, не живут долго.

Впрочем, как выяснилось, долго здесь не живёт вообще никто, кто не нашего сорта.

Часы на стене пробили три. Дождь стучал в стекло, будто просился войти.

Лика погасила свет и долго сидела в темноте, сжимая в руке мятый, надорванный, драгоценный и смертоносный обрывок чужой жизни.

Список, за который санитарка заплатила всем, что у неё было.

Список, который теперь вёл её — в самое сердце тьмы, откуда не возвращаются.

И она знала это. И всё же — не выпускала бумагу из пальцев, согревая её теплом собственной ладони, будто хотела каким-то образом отдать назад то небольшое, что остаётся человеку, когда у него отняли всё остальное.

Хоть немного.

Хоть тепло.

Хоть чуть-чуть времени.

А на улице, внизу, под её окном, в мокрой темноте, стояла машина с погашенными фарами. И в ней кто-то курил. Долго. Терпеливо. Не спеша. И смотрел вверх, на тёмное окно пятого этажа, за которым подрагивал красный огонёк.

Хотя Лика не курила в ту ночь.

Огонёк был не от сигареты.

Это горел, разгораясь, тот самый, едва тлевший прежде вопрос, который теперь будет сжигать её изнутри, пока не останется ничего, кроме пепла — или ответа.

Глава 4. Клиника, которой нет

Существуют двери, которые не существуют, — и в этом нет противоречия. Есть дверь, которую вы видите, и есть дверь, которая ведёт. Первой сколь угодно много, вторая — одна на миллион. И горе тому, кто перепутает их, ибо за первой его ждёт пустота, вежливая и безвредная, а за второй — нечто, о чём лучше не знать, да поздно.

«Гигея» не значилась ни в одном реестре.

Лика проверила всё, что можно проверить, — и наткнулась на ничто. Не пустоту, не отрицание, а именно ничто: тончайший, почти невидимый слой небытия, наведённый поверх реальности так умело, что сама реальность начинала в нём сомневаться. В городских базах — ни адреса. В налоговых — ни следа. В картографических сервисах, услужливо знающих каждый фонарный столб, каждый ларёк, каждую собачью будку, — ничего. Словно клиники не было вовсе. Словно её никогда и не было.

Но Лика знала, что она есть.

Она чувствовала это так же безошибочно, как чувствуют в ночи приближение чужого дыхания за спиной, не оборачиваясь. Клиника была. Она просто жила не в мире адресов и вывесок, а в том подвальном, потаённом этаже бытия, где водятся вещи, не любящие, чтобы их находили.

И тогда она решила пойти туда, куда не пускают следователей.

Она решила прийти как клиент.

Для этого пришлось стать другим человеком.

О, это было подлее всего. Не переодевание, нет — переодевание лишь костюм, а костюм не меняет сути. Но Лика собственной волей, впервые за долгие годы, натянула на себя личину той самой породы, которую презирала всеми фибрами. Платье, которого не носила ни разу. Дорогая, пахнущая чужими деньгами штука, облегающая, как грех. Туфли, в которых ноги, привыкшие к грубой коже и сырому асфальту, чувствовали себя пленницами. Лёгкий, обещанный правилами снобизма аромат. И — главное — то выражение лица, которому учатся не в школах: выражение спокойной, уверенной, ничем не омрачённой пустоты, какой бывает лишь у людей, привыкших, что мир ложится у их ног сам, без просьбы.

Она заказала себе пропуск. Не официально — официально для «Гигеи» пропусков не существовало. А через то безымянное, шепотом передаваемое из рук в руки «агентство желаний», которое, по слухам, связывало страдающих от собственной смертности с теми, кто готов был эту смертность отодвинуть. За цену. За любую цену.

Деньги нашли быстро. Невеликие деньги, но достаточные, чтобы двери, которых нет, приоткрылись.

И вот, в урочный час, в месте, не отмеченном ни на одной карте, на месте, где, по всем документам, стояла лишь ветшающая промзона, — перед Ликой открылось оно.

«Гигея».

Подъезд был тих.

Это было первое, что ударило по нервам. Не роскошь — роскошь, слава богу, можно вынести, к ней лишь привыкаешь, как к дурной погоде. А именно тишина. Глубокая. Властная. Отшлифованная. Такая тишина, какая бывает не в домах, а в склепах, где воздух недвижим, а каждый шаг приглушён до шёпота, будто сам пол боится потревожить покой тех, кого здесь ждут.

Всё было белым и гладким. Полы, стены, потолок — единая, непрерывная, скользкая белизна, без единого шва, без единой тени, без единого угла, за который можно было бы спрятаться. Свет струился ниоткуда и падал никуда, ровный, молочный, лишённый источника, — и от этого казалось, что ты не в комнате, а внутри чьего-то недремлющего, бессмертного ока.

И запах.

Ах, этот запах. Смесь антисептика и денег, озона и дорогой свежести, стерильности и сдержанного, едва уловимого благовония, — так пахнет только сама вечность, если бы у вечности имелся обоняемый образ.

Персонал скользил по коридорам бесшумно, как тени, отражённые в полированном полу. Никто не смотрел в глаза. Никто не спрашивал лишнего. Все улыбались — одинаково, заученно, уголками губ, — и в этих улыбках не было ни тепла, ни холода, ничего человеческого, лишь безупречная, отработанная услужливость, за которой, Лика чутьём это понимала, стояла одна-единственная, никогда не произносимая вслух истина:

здесь никто не задаёт вопросов.

Ибо вопросы здесь стоят дороже, чем ответы. Дороже, чем жизнь. Дороже, пожалуй, всего, что может предложить смертный.

Её провели в кабинет.

Он был огромен и неуместно светел. Окно во всю стену выходило — о, нелепость! — на ту самую мёртвую промзону, которой, по документам, и быть положено. Город лежал внизу, серый, мокрый, умирающий собственной обычной смертью, а здесь, за стеклом, было тихо и бело, как в ином, чистом, недостижимом мире.

И тогда — вошёл он.

Никто не назвал его по имени. Да и не нужно было. Такие люди не носят имена, имена носят их. Он был высок, сед, сух, и лицо его было из тех, что не стареют, кажется, никогда, — не от здоровья, а от того холодного внутреннего огня, что сжигает всё лишнее, оставляя лишь суть. Глаза — светлые, почти прозрачные. И улыбка. О, у этой улыбки был особый, страшный дар: она не лгала. Именно это и было в ней самое невыносимое.

— Аркадий Глинский, — сказал он, и голос его прозвучал мягко, как скользящий по мрамору шёлк. — Рад, что вы решились. Обычно сюда приходят, когда другого выхода уже не осталось. Это мудрость. Запоздалая, но мудрость.

Он не спрашивал её имени — верно, знал, а вернее, знал то имя, которое она сама себе выбрала для этой встречи. Он вообще, казалось, знал всё. И в этой всеполноте знания, в этом спокойном, ненапряжённом обладании неведомым было что-то куда более угрожающее, чем в любой явной угрозе.

— «Продлить ресурс», — произнесла Лика заученную формулу, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

Глинский улыбнулся чуть шире.

— Продлить ресурс, — повторил он, смакуя, будто пробуя слова на вкус. — Как по-деловому. Как по-нашему. Вы, я вижу, быстро усвоили правила. Это хорошо. Многие сюда приходят с соплями — и зачем так дорого, и ах, а это не этично. Они не понимают главного.

Он сделал паузу. Долгую. Умелую.

— Общество, дорогая моя, давно уже разделено. На тех, кому дано, и тех, кому не дано. Одни создают мир. Другие — лишь населяют его. И смерть, с её глупой, старомодной справедливостью, каждый день смешивает эти два сорта в одной земле. Несправедливо. Убого. Рас-
точительно.

Он подался вперёд, и в светлых, прозрачных его глазах на миг блеснуло нечто — не злоба, не жадность, а та тихая, страшная, почти религиозная убеждённость, что лишает человека сомнений навсегда.

— Я лишь делаю это разделение честным, — сказал он. — Слабые служат сильным. Так было всегда. Я только убрал лицемерие.

Лика смотрела на него и молчала.

И впервые за всё время пребывания в этой белой, скользящей, безжизненно-тихой клинике, где не было теней, не было швов, не было углов, — она поняла, что находится в месте, из которого, возможно, не выйдет.

Не потому, что её схватят.

А потому, что за этими словами — спокойными, логичными, почти уютными в своей чудовищности — уже некуда бежать.

Ибо ужас здесь был не в том, что творили злодеи.

Ужас был в том, что творившие видели в этом правду.

И, страшно сказать, — почти убеждали.

Глава 5. Метка крови

Тот, кто идёт в запретное крыло, должен помнить одно: запретное потому и запретно, что оттуда не возвращаются прежними. Можно вернуться телом. Можно даже вернуться живым. Но прежним — никогда. Ибо есть зрелища, которые не остаются в памяти, а входят в плоть, как заноза, как метка, как несмываемое клеймо, и с этого часа ты уже не тот, кем был, а лишь свидетель того, чего человеческому сердцу видеть не дано.

Этого Лика тогда не знала.

Она шла по белому коридору «Гиги», притворяясь, что может дышать.

Её провели в «палату ожидания» — стерильную, любезную, такую же гладкую, как всё здесь, — и оставили одну, ибо даже самые внимательные стражи рано или поздно отводят взгляд. И вот, в тот краткий, бесценный, вымоленный миг, когда никто не смотрел, Лика сделала то, чего не следовало делать никогда.

Она свернула не туда.

Она вошла в дверь, которой не замечала, потому что двери, меченной словом «Служебное», здесь полагалось не замечать вовсе. Створка подалась бесшумно, услужливо, как подаётся всё в этом доме, где ничто не скрипит, не стонет, не сопротивляется. И коридор за ней был не бел, а сер.

То была преддверная серость, потемневшая, приглушённая, как бывает в гнездовьях, куда зверь не пускает света, инстинктивно оберегая содеянное от чужих глаз.

Лика шла.

Запах здесь был иной. Не тот, парадный, озонно-денежный. Этот — гуще, тяжелее, с привкусом железа и формалина, с тем сладковато-приторным оттенком, который невозможно спутать ни с чем на свете, если хоть раз его вдохнул. Запах плоти, недавно расставшейся с душой — или, что страшнее, ещё не расставшейся.

И — звук.

Сначала Лика не поняла, что это. Тихий. Ровный. Мерный. Так капает вода в глубоком подвале, так тикают часы в пустом доме, так дышит — нет. Это был плач. Не крик, не вой, не рыдание. А именно плач — тот особенный, беззвучный, захлёбывающийся плач, каким плачут не от боли даже, а от чего-то более страшного, чему нет имени и против чего нет ни оружия, ни молитвы.

Лика пошла на звук.

И остановилась у стекла.

Она видела многое. Десять лет убойного отдела — это десять лет спускания в такие подвалы человеческой природы, где самый закоренелый рецидивист, доведись ему, отвёл бы глаза. Она научилась смотреть на смерть, как смотрят на погоду, — без ужаса, но и без любопытства. Она думала, что её уже невозможно потрясти.

Она ошиблась.

За стеклом, в холодном, бестеневом свете, стоял стол. Тот самый, из её ночных кошмаров, нержавеющей, забрызганный чем-то, чего лампа безжалостно высвечивала. И на этом столе — человек.

Он был жив.

Вы понимаете? Не «тело». Не «труп». Живой человек. Грудь его поднималась и опускалась, пальцы подёргивались, и по лицу, искажённому до неузнаваемости, непрерывно текли слёзы, собираясь в тёмные лужицы на клеёнке под головой.

Губы его шевелились.

Лица, затаив дыхание, прижалась лбом к холодному стеклу и различила беззвучное, повторяемое снова и снова движение, то самое, что изо всех сил, из последних сил, пытался прорвать полосу тишины.

Нет. Нет. Нет. Пожалуйста. Нет.

Он не мог кричать. Не потому, что не хотел. Не потому, что был сломлён. А потому, что ему не дали. В вене его торчала канюля, и по прозрачной трубочке, стекая капля за каплей, шло то, что не усыпляло, а лишь сковывало. Парализатор. Мышечный блок. Яд, отнимающий не жизнь и не чувство, а лишь право на крик, на сопротивление, на то последнее, чем владеет даже самый нищий из смертных, — на собственный протест.

Он был в полном сознании.

Он всё чувствовал. Всё слышал. Всё понимал.

И парализованный, немой, распятый на холодной стали собственной беспомощностью, он лежал и смотрел — широко раскрытыми, не закрывающимися, полными ужаса глазами — как к нему подходят фигуры в белом, каменные, безучастные, и как в их руках, отражая бестеневый свет, вспыхивает сталь.

Легчайший, едва уловимый, почти извиняющийся щелчок. Движение. И —

Лица отшатнулась.

Она не видела начала. И, слава богу, не видела. Ибо то, что она успела увидеть краем глаза, отпечаталось в ней уже навсегда, как печать раскалённым железом: струйка крови, тёмная, живая, побежавшая по белой коже, и сдержанное, деловитое шуршание инструмента, и дрожь, судорога, прошедшая по телу, которое не могло пошевелиться, — и эти глаза.

Господи.

Эти глаза, которые нашли её за стеклом.

Они встретились взглядами. Всего на долю секунды. На ничтожную, невыносимую долю секунды, в которую уместилась вся вечность чужой муки. И Ли́ка поняла, что он её видит. Что он, немой, парализованный, уже почти «материал», — видит её, живую, свободную, стоящую за стеклом, — и в его взгляде не было ни надежды, ни мольбы.

Только вопрос.

Почему ты стоишь там, а не вытащишь меня отсюда?*

И ответа на этот вопрос у Ли́ки не было.

И никогда уже не будет.

Сзади раздался звук.

Резкий. Металлический. Так лязгает задвигаемый засов, так щёлкает предохранитель, так захлопывается ловушка, в которую ты вошёл сам, думая, что идёшь по следу.

— Не стоит, — произнёс голос. Тот самый, мягкий, шёлковый, от которого воздух в этом месте, казалось, становился плотнее. — Смотреть. Это дурно влияет на аппетит.

Ли́ка обернулась.

Но поздно.

Кажется, силуэтов было несколько. Размытые, белые, безликие, они надвигались из серого сумрака коридора, и первым же движением — точным, отработанным, лишённым злобы и потому ещё более страшным — кто-то выбил у неё из рук нечто, что она даже не успела выхватить.

Она дралась.

О, как она дралась. Всем, чему научили её десять лет. Локтями, коленями, лбом, всей той заёмной, звериной яростью, что просыпается в человеке лишь тогда, когда на кону стоит не жизнь, а нечто большее — право остаться человеком. Она била их, а они — с той жуткой, мягкой неотвратимостью, что не ускоряется и не гневается, — наваливались скопом, молча, сцепившись, как хорошая, дорогая, идеально отлаженная машина.

Белое. Серое. Скользкое. Сталь.

Чей-то вдох у самого уха. Чьи-то пальцы на запястье.

Свет. Тьма. Свет.

И вдруг — дверь.

Мусорный шлюз. Узкий, зловонный, ржавый, прорезанный в безупречной белизне, как рана в мраморе. Откуда он взялся, Лика не поняла и никогда не поняла. Может быть, сам город — тот старый, гнилой, недобитый город, из которого она пришла, — протянул ей руку помощи в последнюю секунду, ибо даже у самых пропащих мест есть своя, тайная жалость к тем, кто заблудился в чужой тьме.

Она рухнула в этот шлюз, и он сомкнулся за ней.

Наружу она выползла, задыхаясь, на четвереньках, по ледяному, воняющему отбросами жёлобу, и упала лицом в мокрый снег, не снег, а тот вечный, въедливый городской туман, что оседает на коже кислой плёнкой.

Она лежала так долго.

Сердце колотилось о рёбра, как зверь о прутья клетки. Во рту — вкус крови и железа. В разорванном платье, в чужих, дорогих туфлях, чудом уцелевших, она лежала на земле, под дождём, и не могла подняться, не потому что не было сил, а потому что не было правды, в которую хотелось бы вернуться.

Ибо теперь она знала.

Она видела это своими глазами. Донор был жив. В полном сознании. И орган — не выращен в пробирке, не взят у покойника, не куплен у бедняка в обмен на кусок хлеба, — орган был вырезан у человека, который всё чувствовал.

Всё.

До последней секунды.

До последней струйки крови.

Лика закрыла глаза, и перед ней — навсегда, насовсем, несмываемо — встали те глаза за стеклом. Парализованные. Полные не боли даже, а одного-единственного, безответного вопроса.

И она поняла, что с этого часа, с этой метки, с этой ржавой, пульсирующей, невидимой миру раны, — дело перестало быть формальностью.

Теперь оно стало её.

Насквозь.

До самой сердцевины, куда не добирался ещё ни один страх.

Ибо нельзя однажды увидеть, как из живого человека аккуратно, по протоколу, делают «материал», — и остаться прежним.

Нельзя.

А на белом, безупречном столе, в сером крыле, куда не заглядывает свет, лежал человек, который уже не плакал.

Он просто смотрел в потолок, в бесконечную, немигающую, слепящую белизну, заменявшую ему здесь и небо, и надежду, и последний вдох.

И губы его, в полной, безнадёжной тишине, шевелились, повторяя одно и то же, снова и снова, как заевшая молитва, которой никто не услышит.

Два слова.

Всего два слова, произносимые беззвучно, губами, которым больше нечего сказать.*

«Помоги... кто-нибудь...»

Но в этом крыле, как в самой смерти, не было никого.

Только сталь.

Только белый свет.

Только мерный, равнодушный счётчик, отмечавший — глухо, бесстрастно, без души,

как из человека выходит то, что делало его человеком.

Часть вторая. КЛИНИКА «ГИГЕЯ»

Глава 6. Идеология ресурса

Есть разговоры, после которых мир уже не тот. Не потому что в них было сказано нечто новое — нет, всё это ты слышал и раньше, по отдельности, обрывками, в чужих устах. А потому что теперь это сказали тебе, в лицо, спокойно, глядя в глаза, и от этого осколки, прежде валявшиеся порознь, вдруг сложились в целое. И целое это оказалось чудовищным не своей новизной, а своей завершённостью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.